Игорь Шестков "Любовь Миши Сироткина"

ЛЮБОВЬ МИШИ СИРОТКИНА
(рассказ соседа по больничной палате)

Моя фамилия – Сироткин... Как вы полагаете, Дима, можно с такой фамилией прожить долгую хорошую жизнь? Нет. Это и чижику ясно. Сколько раз мать просил – смени нам фамилию! Нет! Вот, в нашем дворе один мой дружок был Бусовым, а стал Ожерельевым. И доволен. А нашу сиротскую фамилию мать менять не стала.
«Как я могу! Мой дед-толстовец был Сироткин!»
А на самом деле она моему отцу досадить хотела. Его фамилия была – Кац. Он нас бросил. Умотал в Израиль «по первому призыву», в шестьдесят девятом. А мать – наотрез отказалась ехать. «Не поеду. Мне моя могила в этом Израиле мерещится. Леса нет, жарко, вокруг евреи. Там моя смерть. И сына не выпущу». Отец просил, умолял, на коленях стоял. Все бестолку. С работы его уволили. Полтора года мурыжили. Потом дали разрешение. Он свалил. А мы остались в Москве. С тех пор я отца не видел. Только во сне он ко мне несколько раз приходил. Я с ним во сне заговорить пытался. Но он молчал. Я плакал, просил его не уезжать. Все напрасно. Отец был тих. Сидел на каком-то камне, голову на руки положил. А за ним была гора в небо уходящая. На ней – старые могилы. Когда мне шестнадцать исполнилось, мать рассказала, что отец только три года в Израиле прожил. От инфаркта умер. В Иерусалиме. Полный был. И чувствительный.
А теперь мне дорога к нему закрыта. Жалко, духи снов не видят. И к месту привязаны. Тут, в музее – гуляй где хочешь. А за порог – нельзя. Печати специальные положены. Так что путешествовать я только по залам да по картинам могу. Сам пожелал. Может, отец, как и я – дух неприкаянный, бродит там у Золотых ворот. Интересно было бы с ним поговорить... Ну да ладно, что душу зря травить...
Так вот, фамилия моя Сироткин. Сирота как бы. С годами привык, не обращал

внимания. Одноклассники надо мной смеялись, дразнили «сирым», «сивроткиным» и уж совсем не понятно почему – «сиропчиком». Особенно меня этот «сиропчик» доставал. Гусиная кожа от этого слова по телу шла. И горло внутри чесалось.

Жили мы с матерью в маленькой квартирке недалеко от Комсомольского проспекта. В новом панельном доме, где обувной. Кухня, коридор, две комнаты. Моя – 8 метров, мамина – 16. Кооператив. Мать в военной академии переводчицей работала, зарабатывала 250, нам хватало. Отец тоже где-то там работал. Закройщиком в закрытом ателье. Мундиры, наверное, шил. Работником он был не лучшим и использовать свое положение не умел – жил с женой в коммуналке и, только когда я на свет появился, кооператив купил. Помогли знакомые. На первый взнос у бабушки Ривы деньги взял. Бабушка долго не хотела давать.

Ворчала: «Женился на русской, кровь испортил, а теперь полторы тысячи рублей просит!»

Потом дала. «Зяма, не могу наблюдать твои мученья!»

По словам матери, «баба Рива отца грызла и канючила», чтобы в Израиль он без нас уехал. Даже невесту ему присмотрела – «толстозадую Сару с волосатыми ногами». Не хотелось ей показывать многочисленной еврейской родне русскую сноху и внука-гоя.

«Ууу... гнездо жидовское! В нем нашего Каца птенцом считали. Не позволила ему баба Рива повзрослеть, чтоб ей поскорее околеть, гадине...» – бранилась мать.

«Зачем же ты за него замуж вышла? Он же старше тебя был, и его мать тебя обижала!» – спрашивал я мать, силясь что-нибудь понять в логике взрослых.

«Зачем, зачем... Вырастешь, поймешь... Любила...»

В школу я ходил без большой охоты. Учился так себе. Мать приходила с работы усталая, но мои домашние работы проверяла. Помню, никак мне английские слова выучить не удавалось. Ненавидел я этот язык всем сердцем. Учил, учил, повторял, повторял. Как тетрадь закрою – все из головы вон. За невыученные слова я от матери получал нагоняй. Кричала. Грозила, что стану дворником. Я этого очень боялся. Мне представлялся огромный глупый мужик в грязном

фартуке. А я тогда хотел стать министром иностранных дел.
Один раз мать дала мне пощечину. Заслужил, двойки по-английскому в дневнике чернилами залил. На свободных местах пятерок понаставил. Думал, мать не заметит. Заметила. Да ее еще и к завучу из-за этого вызывали. Я сидел дома, дрожал. Мать пришла злющая. Хрясь меня по щеке ладошкой! И рыдать. Потом говорит: «Ты трус! Напортачил – отвечай. Ответил. Исправил. Нашел из-за чего дневник марать... Министр... А эта твоя Светлана Родионовна – гадюка настоящая. Я с ней поговорила. Антисемитка проклятая. Чует в тебе папу Каца. Думала, ты в деда Колю пойдешь, а вон что вышло – цадик местечковый, как мы тут жить будем? А у еврейчиков – ты русский. Вот же привел Господь...»
О чем она говорила я понял позже, когда меня при поступлении на физфак МГУ на экзамене срезали. На апелляции шепнул мне второй проверяющий, аспирант, когда первый за бумагами вышел: «Вы Сироткин, да не совсем! Подумайте хорошенько, куда таким «наполовину сиротам» поступать разрешено, а куда и пробовать не надо».
Учительницы у нас были – драконы.
Светлана Родионовна, невысокая полная дама с выпученными глазами даже двигалась как змея, только пластилиновая. Какой-то недуг терзал ее изнутри и за это она жалила учеников. На каждого из нас у нее было приготовлен особый яд. Например, с тощим, высоким как жердь Ваней Сабитовым она говорила по-простому: «Ты Иван опять не можешь двух слов связать. Что же будет, когда мы сложные тексты проходить начнем? Иван ты Иван, голова два уха. Надо будет поставить вопрос об отчислении на педсовете. Есть такие школы, для отсталых. Тебе там самое место. А родителей твоих прошу ко мне завтра, к трем часам». Знала ведь, гадина, что Ваня растет без отца, а мать его – бедная неграмотная татарка-уборщица, боится всех, не понимает по-русски, работает в трех местах и четверых детей на себе тащит. Та придет, а Светлана будет ее мучить: «Ваш сын недоразвитый, текст про Одиссея пересказать не мог, на уроках мычит, рук из карманов брюк не вынимает...»
А меня она так обрабатывала: «Я понимаю, это неожиданность для тебя, Сироткин, что ты, несмотря на мать переводчицу, не способен к языкам. Ты должен больше остальных учеников заниматься. Это тебе не арифметика. Тут

нужно способности иметь... Хорошо, если у тебя тройка в четверти выйдет. Все вы в английские школы поналезли... Думаете не понятно, для чего?»
Кто эти «все вы», которые «поналезли» я не понимал. Зато хорошо чувствовал нескрываемую ненависть, исходящую от Светланы Родионовны.
Наша классная руководительница Альбина Федоровна, учительница русского языка и литературы, дебелая бабища, говорила с нами почему-то нараспев. Ученики ее боялись, потому что над верхней губой у нее были черные гадкие усики, а во рту сверкал золотой зуб.
«Нааш диреектор решиил – кааждый клаасс приимет учаастие в социалистиическом соревноваании по успеваемости. Мыы все в шестоом «Бее» возьмеем на себя обязаательство, повыысить успеваемость на дваа и четыре десяятых процеента...» – долдонила классная.
А когда она говорила о генерале Карбышеве, ее завывание переростало в устремленный в потолок крик души. «Товаарищи пионееры! Каарбышев жив! Фашисты замороозили его теело, но дуух его всегда буудет жить в нашей пионеерской дружиине!»
«Сосулька», – говорил мне тихо мой сосед по парте Сухарев, показывая грязным пальцем на страшную картинку. Голого человека обливали водой на лютом морозе фашисты. Ноги его уже были покрыты льдом. Пар шел от тела. Мне запомнилась голая спина Карбышева – художник так рельефно прорисовал мускулы, что было непонятно, как такой силач позволяет поливать себя на морозе из шланга водой довольно убогонькому солдату с крысиной физиономией.
Учителя, напротив, не вызывали во мне чувство отвращения. Некоторых, я, конечно, побаивался. К другим был равнодушен. Одного – даже любил. Это был учитель истории Петр Самуилович. Это был единственный в школе вменяемый педагог. Говорил он кратко и доходчиво. Особенно мне нравились его комментарии. Петр Самуилович рассказывал: «Цезарь завоевал популярность плебса устройством пышных зрелищ и раздачами хлеба... Зрелищ и сейчас достаточно, а вот с хлебом сложнее. А с популярностью совсем плохо. Цезаря раздражала его лысина, потому что над ней смеялись. Для ее сокрытия, он постоянно носил лавровый венок. Попробовали бы посмеяться над Иосифом

Виссарионовичем за его сухую руку и короткую ногу! Я бы на них посмотрел». Кто такой этот Виссарионович мы не знали, но представляли себе мстительного злого карлика со страшной сухой рукой и маленькой короткой ножкой.
В сентябре 19..., последнего в школе, года в наш класс пришел новый ученик – Армен Сальский. Худой, высокий, черноволосый. Вел он себя спокойно. Говорил с легким кавказским акцентом. По многим предметам быстро стал первым в классе. Очевидно скучал на уроках. В этого Армена я влюбился. По уши и с карманами.
Мне нравились мальчики. Переживал я это мучительно. В душевой, голый, я стеснялся своего тела. Показывать свои чувства боялся. Боялся не одноклассников, а самого себя. Думал, я урод или сумасшедший. А на девочек и смотреть не хотел. Все они мне казались жеманными и фальшивыми. До фиолетового траурного оттенка на висках.
Какие мне надо было делать выводы, как жить – я понятия не имел. Удовлетворял себя сам. Как все это делают. И терзался как все. Не знаю как у других, но у меня сексуальные фантазии чем-то вроде навязчивых представлений были. Приходить – приходили. А уходить не собирались. Прочитал я тогда «Три толстяка». Наследник Тутти, Тибул, Суок... Странное впечатление книга оставила – все вроде хорошо, а противно. Мылся после чтения в ванной. Потянуло на это. И вдруг, откуда ни возьмись – трое голых, толстых мужчин на меня накинулись. И с тех пор, как только мои гормоны шалить начинали – три толстяка уже меня ждали или в ванной или в кровати. А иногда – прямо на уроке ко мне приходили и безобразничали. Еще хуже – в троллейбусе переполненном. Никто их, кроме меня, конечно, не видел. А я не только видел, но и чувствовал. Всем телом. До высшей точки они меня доводили за пять минут. Чертовщина? Еще и не то бывает. Мне в первые сорок дней после смерти такое показали... Глубины сатанинские.
Влюбленность в то время была для меня чем-то перистым, небесным. Доступная мне эротика проходила как бы в нижнем этаже жизни. И я понятия не имел, как перистые облака юношеской влюбленности совместить с тремя толстяками. Любимый мой на меня и не смотрел. Даже поговорить с ним не удавалось. В сальных и грубых разговорах наших одноклассников он не участвовал. От

контакта обычно уходил. Или элегантно или подчеркнуто грубо, но грубость его меня не оскорбляла. Потому что мне все в нем нравилось.

Один раз, на перемене, я спросил его, что он думает о смысле жизни.

«Знаете, Миша, – ответил он кисло улыбаясь. – Такие вопросы только такие люди как вы задают. Которые не живут. Не умеют. Идите вы в задницу. И пойте при этом патриотические песни!»

«По долинам и по взгорьям?»

«Можно, но лучше – Главное, ребята, сердцем не стареть...»

Повернулся и ушел от меня. Я закусил губу.

Однажды, шли мы все в автошколу. У Сальского, по-видимому, было хорошее настроение, поэтому он позволил мне идти с ним рядом.

Я робко спросил: «Армен, ты куда после окончания школы поступать собираешься?»

«Вы, товарищ Сироткин не мой папа, не мой мама... Поэтому, останемся на вы. На мехмат собираюсь».

«Математиком хотите стать?»

«Не знаю. Мехмат я выбрал не из-за того, что там есть, а из-за того, чего там нет».

«Как это?»

«Объясняю для малограмотных. Идеологии там не много. 24-го съезда и прочего дерьма...»

«Напрасно надеетесь. У меня там двоюродный брат учится, так его научным коммунизмом так заели, что он в Кащенке отлеживался, и от армии его только белый билет спас...»

Это я наврал для значительности. Не было у меня двоюродного брата-мехматянина.

«С чем его и поздравляю...»

«А что вас кроме математики интересует?»

«Марсель Пруст и Герман Мелвилл, Генри Дэвид Торо и Житие протопопа Авакума, Джойс, Сартр, Кафка и Хлебников, Гойя и Рембрандт, Делакруа и Поль Гоген, Майоль и Эдвард Мунк, хватит с вас?»

«Мне эти имена не известны. У нас книг не много дома. Чехов стоит и Гоголь».

«И это не дурственно, батенька».

«Еще есть, как его, Драйзер».

«Вот скучища-то. А Саги о Форсайтах у вас нет?»

«Есть. И Анна Зегерс».

«Не продолжайте, а то у меня истерика начнется... Вы хоть в Пушкинском-то музее хоть раз были?»

«Это где?»

«На Луне. Да что я спрашиваю, не по Сеньке шапка».

Тут у меня от обиды слезы навернулись. «Для малограмотных», «не по Сеньке шапка» – он меня за полного дурака принимает. Правда я и есть дурак. Дурак и невежа. Но если ты умный, ты меня научи, а не унижай. Мне тебя обнять хочется, в губы поцеловать, а ты меня презираешь. А музей я посещу, дай только срок... И книги прочитаю, я в юношеском зале в Центральной библиотеке записан...

Насупился и замолчал.

Сальский вдруг заговорил.

«Я понимаю вас. Лучше, чем вы думаете, понимаю. Ваша жизнь мне ясна, как этот кленовый лист. Со всеми прожилочками. Ясны ваши желания и мечты. Знаю я, что ты хочешь, Миша Сироткин. Ты выше задницы не видишь ничего. Ты залупу мою сосать хочешь!»

Он остановился, пристально посмотрел на меня и схватил руками за плечи. У меня от волнения чуть сердце не остановилось.

Сальский дрожал. Лицо его покраснело. Чувственные восточные губы сжались. Из черных глаз, казалось, вылетал огонь.

Я с трудом выдавил из себя несколько слов.

«Да хочу, если ты... этого хочешь... и... я... люблю тебя».

Дальше произошло вот что.

Сальский нежно поцеловал меня, потом отошел, неожиданно подпрыгнул и повис в воздухе. И долго висел...

А затем – растворился, исчез. Я стоял, выпучив глаза. Сердце билось так часто, что я боялся, что оно разорвется. Ничего, прошло. Жизнь все время нас от нас самих уносит. Спасает.

В автошколе остальные, обогнавшие нас ученики, уже сидели на местах и старый неопрятный учитель Александр Павлович Носиков объяснял, как работает двигатель внутреннего сгорания.

«Жиклеры нельзя прочищать проволокой, иглами и другими металлическими предметами! – предупреждал учитель. – Заостренной спичкой можно, а еще лучше – продувать...»

Внезапно до меня дошло – Сальский тут, сидит за два человека от меня, даже в тетрадку что-то пишет. Как же он сюда попал? Неужели прилетел? Посмотрел на него. Он ответил вежливым спокойным взглядом.

«Сердце карбюратора трубка Вентури, – интимничал Носиков. – В центре трубки заслонка. А ты, Сиротин, почему не пишешь? Шибко ученый, да?»

«Я – Сироткин, а не Сиротин».

«Не умничай! Сироткин... Заслонка регулирует подачу бензиново-воздушной смеси в камеру... В какую камеру, Сиротин?»

«Сгорания, только я – Сироткин».

«Сирота ты казанская, Сиротин. Не лови ворон, а записывай. Мечтатели тут, понимаешь...»

В следующий раз мне удалось поговорить с Арменом только через несколько лет. Оба мы были уже студентами. Я провалился на физфак, зато поступил в МАИ. Сальский учился, как и хотел, на мехмате МГУ. К тому времени я уже побывал в Пушкинском. И не раз. Полюбил и изучил старую голландскую и немецкую живопись. Прочитал и Сартра и Торо даже Марселя Пруста в переводе Любимова. Выходили тогда тома. Вначале было тяжело. Потом стало непонятно, как можно было жить без этих книг...

Встретились мы случайно. В метро. На Октябрьской радиальной. Внизу. Чуть лбами не столкнулись. Я по его глазам сразу понял, что он меня узнал. Что он не уйдет.

Попытался быть развязным.

«Ха, привет, Сальский».

«Привет».

«Ты что тут забыл?»

«По делам, по делишкам. А ты?»

«Я тоже... краски тут наверху покупал... в магазине для художников».
«Малюешь?»
«Немножко. Пробую. Ты меня тогда с музеем пристыдил. Теперь часто там бываю. Ну и сам начал... потихоньку... рисовать. Даже поучился немного. У старых мастеров... На Масловке...»
«Это в доме, где одни ателье? Знаем, знаем... Выставлять пытался?»
«Где уж, я ведь не член союза».
«В павильоне пчеловодства был?»
«Это зачем?»
«Выставка там была – еще не уехавшие художники-нонконформисты свои работы показывали. Рабин, Целков...»
«Даже не знал, что такое у нас возможно...»
«У нас ой как многое возможно... Эх ты, сирота убогая!»
«Ты опять за свое... слушай, а ты почему тогда убежал... или улетел... помнишь... по дороге... про трубку Вентури Носиков еще долдонил...»
«Все я помню, у меня как у гебистов, никто не забыт, ничто не забыто...»
«Ну тогда... ответь... мои чувства прежними остались...»
Как я это смог произнести – не знаю. Язык сам говорил. Три толстяка пробежали где-то на периферии зрительного поля... красная трубка Вентури, похожая на грамоффонную трубу, продудела мне прямо в ухо как живая труба в мультфильме какой-то отвратительный сигнал... Передо мной вспыхнули вдруг два глаза дьявола... я попытался закрыть глаза руками, пытался сказать что-то, но не мог, затем упал, провалился во тьму...
Когда пришел в себя, мы сидели на деревянной скамейке. Там же, в метро. Сальский поддерживал меня и несильно бил пальцами по щекам.
«Очнись, очнись скорее, Миша Сироткин. Твой час еще не пришел».
«А... что случилось?»
«Ничего особенного, все хорошо, – сказал Сальский. – Все замечательно, только ты чуть под поезд не попал... Я тебя от края платформы оттащил...»
«Спасибо».
«Потом ты все про каких-то трех толстяков бормотал. Это что за чепуха?»
«Меня с отрочества фантазия мучает – три толстяка ко мне приходят».

«Да ты брат, с воображением. Я думал такое только автору может привидеться. Служебные демоны писателей любят. За твоим Олешей, думаю, целая свита носится. Но, чтобы на читателя перешли? Да еще на сироту... А как ты вообще живешь?»
«Живу до сих пор вдвоем с матерью. Привести домой никого не могу. Вру матери про встречи с девушками. К Большому ехать боюсь...»
«Понятно, понятно... Правильно делаешь, что к Большому не едешь. Там одни хмыри. Знаешь, мне одна идейка в голову пришла. Тут... завтра у одних знакомых вечер будет. Особенный. Там будут только такие как ты и я. Понимаешь? Хочешь со мной пойти?»
«Да».
«Тогда вот что. Я тебе сейчас запишу на бумажке мой номер телефона. Позвони завтра вечером, в шесть. Договоримся».
Борис вручил мне записочку и ушел. Я посидел немного и тоже пошел. На пересадку.
Весь день делать ничего не мог, только думал, думал и гадал. Волновался. Неужели эта, в уголовном кодексе не забытая сторона моей жизни, имеет право на существование? И как просто он это сказал «такие как ты и я». Это же посвящение в рыцари.
Ночью почти не спал. Три толстяка все время рядом были. Смеялись и рожи мне строили.
На следующий день в шесть звоню Армену.
«Выходи из дома в полночь. Иди к Спортивной. Оттуда на Кировскую. Я тебя у памятника буду ждать».
Матери я сказал, что с девушкой на свидание иду. Покачала головой.
«В полночь?»
И замолчала. Мать меня не понимает, но жалеет. Нет у меня сил все ей рассказывать, объяснять. Выяснять отношения... Сунула мне в карман трешку. Добрая.
До Спортивной шел не торопясь, наслаждался. Московская бурая ночь, прохожих не видно. Пространство гудит. Разговаривал со знакомыми с детства домами. Просил их меня поддержать. Говорил и с Метромостом. Его огромная

асфальтовая спина всегда влекла меня своей укатанной протяженностью, скоростным захватом. Это не мост, а Моби Дик.
На освещенный шпиль университета посмотрел косо. Не взяли и опозорили. Ладно, вперед...
На Кировской у бюста никого не было. Постоял, подумал. Вдруг кто-то черными перчатками закрыл мне глаза. Шутка эта мне всегда не нравилась. Не потому что угадывать надо, а потому что в Москве можно и ножик в почки получить – просто так, без повода.
«Армен?»
«Нет, бармен, – сострил Сальский. – И коктель уже нас ждет и виноград».
Мы вышли из метро. Один переулок, другой, церковь мне неизвестная, тупичок. Теперь сквозь арочку. Во двор, еще один проход. А вот и подъезд. Второй этаж. Позвонили. Открыл нам голый молодой человек в маске. У меня сразу дыхание сперло. Так хорошо он был сложен. Да и нагого тела я давно не видел. Он сказал что-то Армену то ли по-грузински, то ли по- армянски. Тот ответил. Говоря, жестикулировал. Показывал на меня, судя по тону – оправдывался.
Мы вошли в большую прихожую. Там пахло странно. Томительно как-то. Сняли пальто, шапки и ботинки. В квартире было тепло. Откуда-то доносилась мелодичная, незнакомая мне струнная музыка.
Сальский сказал: «Пойдем на кухню».
Взял меня за локоть и повел. Я начал теряться. Воля моя слабела. Не от страха. От новизны ситуации. Инстинкт говорил мне: «Будешь дергаться – пропадешь. Плыви по течению. Оно тебя сильнее. Может и вынесет».
В кухне Сальский достал из внутреннего кармана пиджака пакетик с одноразовым шприцом. В шприце была бардовая жидкость. Жестом попросил меня обнажить бедро. Сделал мне укол. Потом достал второй пакетик, уколол и себя. Я молчал, хотя уколов не выношу. После этого он повел меня в ванную. Сказал: «Раздевайся».
Я разделся.
«Все снимай!»
Я повиновался. Он тоже разделся. Оказалось, Армен весь, от плечей до пяток зарос черными курчавыми волосами. Я посмотрел на его член. Ах черт, в два

раза длиннее моего. Ладно, что есть, то есть. Мы оба влезли в ванную. Начали мыться. Я ткнулся губами ему в плечо, положил руку на его бедро. Он мою руку с бедра убрал и сказал: «Сейчас не до этого. Другим тоже помыться надо».
После мытья обтерлись чистыми махровыми полотенцами. Вышли из ванной. Армен подал мне полумаску на резинке. И сам надел. Кроме масок на нас ничего не было. Одежду, часы и обувь он аккуратно вложил в наши свернутые пальто.
Мы вошли в комнату, из которой музыка доносилась.
В комнате этой квадратной никакой мебели не было кроме длинного узкого и низкого стола с бутылками, фужерами и виноградом. Окна закрывали плотные темно-бежевые шторы. На полу лежал тяжелый красный ковер с геометрическим рисунком. На ковре сидели и лежали голые мужчины в масках. Всех возрастов. Детей не было. В углу сидел по-турецки одетый в пеструю шелковую рубаху «индус» и играл на огромной черной балалайке. Другой бил ладонями в маленький барабан. Армен прошептал мне на ухо: «Это ситар. На нем исполняют рагу. Медитацию на заход Солнца».
Вот откуда музыка! Тихая но экстатическая. Мягкие, ласкающие слух струнные переливы сменялись властными ритмическими ударами...
В воздухе витал синеватый дым от кальяна, который передавали из рук в руки. Освещалась комната крохотными лампочками на стенах – это были три или четыре новогодние гирлянды. Такое освещение напоминало о елке, цветных стеклянных игрушках, о раскрашенном снеге.
Мы сели на ковер.
Армен сказал тихо: «Сядь удобно. Расслабься. Дым из кальяна вдыхай только один раз. Постарайся не кашлять. Сейчас укол начнет действовать. Не бойся. Ничего плохого тебе тут никто не сделает. Если дурно станет, скажи мне. Или уходи. На улице отойдешь. Одежда в прихожей».
Передали мне кальян. Я вдохнул. А выдохнуть не смог. Чуть не задохнулся. Но сдержал себя, не закашлялся.
Перед глазами у меня все постепенно стало густо лиловым. Как будто я в аквариуме с лиловой водой. Плаваю в глубине среди вьющихся водорослей. Сильный как атлант. Первый раз в жизни появилась у меня – надежда. Незнакомое мне блаженство переполнило душу и зажгло во мне любовное

пламя.
Я загорелся как бенгальский огонь. Мои руки стали искать тело моего друга... Вокруг меня была ухоженная, манящая мужская плоть. Мои губы искали то, что можно было втянуть в рот, облизать, чем можно было насладиться...
Через мое тело потек поток радости. Он втекал в меня сзади и вытекал через рот. И я сам тоже был потоком. Я втекал в чужую плоть и искал там наслаждение. Золотые пульсирующие кольца счастья разворачивались в раскручивающуюся спираль... Спираль бешено крутилась и разрывалась на тысячи светлых капелек...
Не знаю, сколько времени продолжалось блаженство. Помню, заснул рядом с Сальским. Проснулся я от острой боли. Кто-то наступил сапогом на мой живот. Потом расслышал крики: «Что, п.дарасы. Разнежились. Черножопые козлы!» Кричали милиционеры и дружинники. Били наотмаш лежащих голых людей черными резиновыми дубинками. Топтали ногами.
Я попытался встать. Ко мне тут же подлетела темная фигура.
«Лежать, черножопая гадина. Лежать, кому сказали!»
Я увидел над собой потное, тупое, искореженное от бешенства лицо милиционера. Он ударил меня дубинкой по голове. Мой череп раскололся на куски. Я умер.
Теперь вот по музею летаю. Могу рыбкой стать... Могу птичкой...

Так закончил Миша Сироткин свою историю. Не только врачи и сестры, но и все остальные пациенты в палате пытались убедить его в том, что он жив. Что он не в музее, а в больнице. Но он никого не слушал. Даже свою мать. Она к нему каждый день приходила. Гладила его по забинтованной голове. Кормила ложечкой. А Сироткин все пытался встать. Картины хотел ей показывать. На ее вопросы не отвечал. Почему он со мной разговорился – не знаю.